

С. А. Кибальник

АВТОИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И НАУЧНАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
(НА ПРИМЕРЕ «ФАНТАСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА»
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»)

Резюме

В статье детально и систематически рассматриваются автореминисценции «Сна смешного человека» из предшествующих произведений Ф. М. Достоевского: «Записок из подполья», «Бесов», «Преступления и наказания», «Подростка», «Дневника писателя». По отношению к «Запискам...» «фантастический рассказ» Достоевского рассматривается как автогипертекст. Все эти автореминисценции позволяют, с одной стороны, ощутить глубокую укорененность основных мотивов «Сна смешного человека» в творчестве Достоевского, а с другой — существенно уточнить проблематику рассказа. Они также дают возможность оспорить правомерность его интерпретации М. М. Бахтиным. Неточно считывая автоинтертекстуальность «Сна...» по отношению ко многим другим предшествующим и последующим произведениям Достоевского, Бахтин не улавливает специфическую для писателя постановку темы. Соответственно, он не замечает в «Сне...» мотивы губительности всеобщего «равнодушия», невозможности сохранения в современном мире «целостности» сознания и в то же время издержек его развития в человеке. Не замечает он и воплощенной в рассказе концепции обновления мира, существенную роль в которой играют христианские категории.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, рассказ, «Сон смешного человека», автоинтертекстуальность, «Записки из подполья», «Бесы», «Дневник писателя», М. М. Бахтин, интерпретация.

AUTOINTERTEXTUALITY AND INTERPRETATION (BASED ON DOSTOEVSKY'S STORY "A FUNNY MAN'S DREAM")

Abstract

The article presents a detailed and systematic examination of self-references in Dostoevsky's story "A Funny Man's Dream" from his previous works: "Notes from the Underground", "Demons", "Crime and Punishment", "The Adolescent", "A Writer's Diary". In relation to "Notes from the Underground", Dostoevsky's "fantastic story" is even considered as an "auto-hypertext". Detection of these self-references makes it possible to observe the deep connection of the main motives of "A Funny Man's Dream" with Dostoevsky's other texts and also to significantly clarify the main ideas of this "fantastic story". This approach also allows us to challenge the validity of Mikhail Bakhtin's interpretation of the story. His inaccurate reading of the autointertextual features, which the story shares with many other previous and subsequent works of Dostoevsky, prevents Bakhtin from catching the writer-specific formulation of the theme. Accordingly, he does not notice such motives as the destructive nature of the pervasive "indifference", the impossibility of preserving the "integrity" of consciousness in the modern world and, at the same time, the costs of the development of consciousness in man. He also misses the concept of the renewal of the world, which is embodied in the story, where, contrary to Bakhtin's opinion, Christian categories play an essential role.

Keywords: Dostoevsky, story, "A Funny Man's Dream", "Notes from the Underground", "Demons", "A Writer's Diary", Mikhail Bakhtin, interpretation.

DOI 10.31860/2712-7591-2022-2-81-100

1. «Сон смешного человека» как автогипертекст «Записок из подполья»

Всемирно известные «Записки из подполья» (1863) Достоевского начинаются так: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень» [Достоевский, т. 5, с. 99].

При каком-то ином раскладе эта повесть, которую исследователи не без основания относят к жанровой разновидности «исповедь антигероя» (см.: [Живолупова]), возможно, могла быть озаглавлена: «Записки **злого человека**»¹.

Куда менее известный рассказ Достоевского, вошедший в «Дневник писателя за 1877 год», озаглавлен «Сон **смешного человека**». На смену злому, непривлекательному герою, по его автохарактеристике, пришел человек смешной.

¹ Здесь и далее выделено полужирным шрифтом мной. — С. К.

Смешной чем?

Ответ на этот вопрос дан уже в самых первых его фразах: «Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я всё еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде» [Достоевский, т. 25, с. 104].

Итак, он смешной тем, что знает истину.

Однако эту истину он узнал как раз в результате того, что с ним произошло во сне. До него он не только ее не знал, но и был похож на всех остальных.

Чем похож? Тем, что ему было «всё равно». Практически всё. Всё всё равно.

Герой «Записок из подполья» восклицал: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что **свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить**» [Достоевский, т. 5, с. 174].

У «смешного человека» не остается даже и этого упоения эгоизмом: «Я вдруг почувствовал, что мне *всё равно* было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что *ничего при мне не было*» [Достоевский, т. 25, с. 105]².

«Подпольный парадоксалист» месяцами ходил на Невский проспект, чтобы хоть один раз «**стукнуться плечо о плечо**» с переставившим его в бильярдной с места на место офицером. После чего он «торжествовал и пел итальянские арии» [Достоевский, т. 5, с. 132].

Герой-рассказчик «Сна...» «вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их»: «...я, например, случалось, иду по улице и **натыкаюсь на людей**» [Достоевский, т. 25, с. 105].

В «Записках из подполья» половина второй их части («По поводу мокрого снега») посвящена отношениям «подпольного парадоксалиста» с его бывшими однокашниками, исполненным противоречиями между ними и борьбой самолюбий.

В «Сне...» этой теме посвящено пол абзаца в первой главке, и нет ни малейшего намека на противоречия и борьбу: «Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но **им было всё равно**, я это видел,

² Как справедливо отмечает В. Катасонов, «герой „Сна“ несколько духовно старше: если тон подпольного человека более публицистичен, он обращен к окружающим, он стремится преодолеть их аргументы своими аргументами, он стремится найти какие-то контакты с окружающими, то герой „Сна“ (до своего перерождения) уже „подустал“, и психологически, и духовно, — никому ничего доказать нельзя, всегда всё равно, и он в основном молчит в обществе товарищей...» [Катасонов, с. 197].

и они горячились только так. Я им вдруг высказал это: “Господа, **ведь вам, говорю, всё равно**”. Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека, и просто потому, что **мне было всё равно**. Они и увидели, что **мне всё равно**, и им стало весело» [Достоевский, т. 25, с.105].

Впрочем, это равнодушие ко всему не раз констатировал в себе и «подпольный парадоксалист» — особенно в первом разделе первой части: «Эх! Да ведь **это совершенно всё равно** — выеду я или не выеду» [Достоевский, т. 5, с. 101].

Звучат там и мотивы, давшие именованию герою-рассказчику нового произведения Достоевского: «Наверно, вы думаете, что я **вас смешить хочу?** Ошиблись и в этом. Я **вовсе не такой развеселый человек**, как вам кажется или как вам, может быть, кажется...» [Достоевский, т. 5, с. 101]. Нет, «подпольный парадоксалист» отнюдь не «развеселый» и не хочет быть в глазах читателя «смешным» — он «злой».

Погода в начале «Сна...» также, хоть и отдаленно, но напоминает ту, что описана во второй части «Записок из подполья». Правда, это уже не «мокрый снег», но также необыкновенная «сырость»: «Дождь лил весь день, и это был **самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям**, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась **страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел**, и ото всего шел какой-то пар...» [Достоевский, т. 25, с. 105].

По-своему в «Сне...» развивается и одна из центральных идей «Записок из подполья»: о том, что настоящее «грехопадение» происходит от чрезмерной искусственности сознания: «научились лгать и полюбили ложь и **познали красоту лжи**».

Усугубляется же оно с укоренением страстей и понятий: «Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... (...) Родилось понятие о чести...» [Достоевский, т. 25, с. 115, 116].

В этом отношении «Сон...» также как будто бы продолжает «Записки из подполья», герой которых «крепко убежден, что **не только много сознания, но даже и всякое сознание болезнь**. (...) Чем больше я сознавал о добре и о всем этом „прекрасном и высоком“, тем глубже я опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней» [Достоевский, т. 5, с. 102].

Мысль эта проходит через повесть Достоевского красной нитью: «Ну-с, **такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нор-**

мальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать — природа, любезно зарождающая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в этом, так сказать, подозрении, что **если, например, взять антитезу нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (...)** то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека»; «Разве **сознающий человек** может сколько-нибудь себя уважать?» [Достоевский, т. 5, с. 104, 107].

Однако «истина», которую открыл «смешной человек»: «люби других как себя», настоящее спасение происходит от любви, — в «Записках из подполья» еще не заявлена. Может быть, она и звучит в повести Достоевского, но разве что подспудно — в сюжетной линии Лизы.

А ответственность за слово, которое может «развратить» других, в «Сне...», безусловно, и совсем новая тема. В «Записках из подполья» она не звучала.

2. «Смешной человек» и Кириллов

Говоря об «универсальном равнодушии» и «предощущении небытия», которое «приводит „смешного человека“ к мысли о самоубийстве», М. М. Бахтин замечал: «Перед нами одна из многочисленных у Достоевского вариаций темы Кириллова» [Бахтин, с. 425].

К Кириллову в «Сне смешного человека» действительно отсылает многое. Начиная с упоминания «одного **инженера**», у которого герой «просидел» «с раннего вечера».

Напомню, что с момента представления Липутиным Кириллова в квартире Степана Трофимовича: «Господин Кириллов, замечательнейший **инженер-строитель**» [Достоевский, т. 10, с. 72] — он неоднократно поименован в романе именно как «инженер».

Впрочем, само по себе упоминание «инженера» в «Сне...», может быть, и не так уж значимо. В конце концов выпускником Инженерного института, то есть «инженером», Достоевский когда-то был и сам — хотя бы по образованию.

Между прочим, он вспоминает об этом на страницах «Дневника» в одном из предшествующих апрельскому (со «Сном...») выпусков: «уже год как вышел в отставку **из инженеров**» [Достоевский, т. 25, с. 28].

Важнее другое. И прежде всего то, что Кириллов употребляет фразу «всё равно» не реже, чем «смешной человек» на первых страницах рассказа Достоевского: «Правда, он врал давеча, что вы хотите какое-то сочинение писать? — Почему же врал? — нахмурился он опять, уставившись в землю. Я извинился и стал уверять, что не выпытываю. Он покраснел. — Он правду говорил; я пишу. Только **это всё равно** (...) я только ищущу причины, почему люди не смеют убить себя; вот и всё. И **это всё равно**. (...) Если будет всё равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет. — **Это всё равно**. (...) — А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в пять лет разучились? — Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил... **мне всё равно**. (...) Вы давеча хорошо сидели и вы... **впрочем, всё равно...**» [Достоевский, т. 10, с. 92, 94].

Далее с Кирилловым ассоциируется уже сам «смешной человек»: «... **как я ни беден**, а купил **прекрасный револьвер...**» Ср. в «Бесах»: «Он вытащил со дна ящик пальмового дерева, внутри отделанный красным бархатом, и из него вынул **пару щегольских, чрезвычайно дорогих пистолетов**. (...) Он полез опять в чемодан и вытащил другой ящик с **шестиствольным американским револьвером**. (...) **Бедный, почти нищий**, Кириллов, никогда, впрочем, и не замечавший своей нищеты, видимо с похвальбой показывал теперь свои **оружейные драгоценности**, без сомнения **приобретенные с чрезвычайными пожертвованиями**» [Достоевский, т. 10, с. 186, 187].

Образ жизни «смешного человека» также вызывает ассоциации с Кирилловым: «Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до того о них забываю. Я ведь **каждую ночь не сплю до самого рассвета** и вот уже этак год» [Достоевский, т. 25, с. 107].

Ср. признания Кириллова повествователю «Бесов»: « — Я чай люблю, — сказал он, — **ночью**; много, **хожу** и пью; **до рассвета**. За границей чай ночью неудобно. — Вы **ложитесь на рассвете**? — **Всегда; давно**» [Достоевский, т. 12, с. 92].

Сближает «смешного человека» с Кирилловым и автобиографический мотив, связанный с рано умершим братом Достоевского Михаилом Федоровичем: «**Мой брат, например, умер пять лет назад**. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во всё продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен» [Достоевский, т. 25, с. 108–109].

Ср. признание Кириллова повествователю «Бесов»: « — Почему вы со мной теперь разговорились? — С вами? Вы давеча хорошо сидели и вы...

впрочем, всё равно... вы **на моего брата очень похожи**, чрезвычайно — проговорил он покраснев, — **он семь лет умер**; старший, очень, очень много» [Достоевский, т. 10, с. 94–95]³.

«Смешного человека», как он признается в самом начале рассказа, после его «прозрения» называют «сумасшедшим»: «Они меня **называют теперь сумасшедшим**» [Достоевский, т. 25, с. 104].

Этот же мотив с самого начала звучит в разговоре повествователя о Кириллове с Верховенским-старшим: «Я кстати упомянул и о разговоре моем с Кирилловым и прибавил, что **Кириллов, может быть, сумасшедший**. — Он **не сумасшедший**, но это люди с коротенькими мыслями...» [Достоевский, т. 10, с. 99].

«Смешной человек» полагает в конце рассказа: «Потому что **я видел истину**, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» [Достоевский, т. 25, с. 118].

Как и «смешной человек», Кириллов полагает себя первооткрывателем истины и первым, кто воплотит ее в жизнь: «Понимаешь теперь, что **всё спасение для всех — всем доказать эту мысль. Кто докажет? Я**» [Достоевский, т. 10, с. 471].

Однако Кириллов видит спасение для всех в приходе «человекобога» [Достоевский, т. 10, с. 189], то есть в том, чтобы самому стать Богом: «Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет бога, и не убить себя тотчас же?» [Достоевский, т. 10, с. 471].

Таким образом, в главном два этих героя различны. В отличие от «смешного человека», каким мы находим его в начале рассказа, Кириллову совсем не все всё равно. В отличие от него же в его финале, герой «Бесов» намеревается спасти всех совсем другим способом.

3. «Смешной человек» и Ставрогин

Вопреки суждению Бахтина, утрата интереса к жизни, которая овладевает «смешным человеком» в начале рассказа, сближает его не столько с Кирилловым, сколько со Ставрогиным. Образ последнего отнюдь не осложнен идеей «человекобожества», которая всецело владеет Кирилловым.

³ В свою очередь, этот мотив отразился в «Братьях Карамазовых», где старец Зосима перед смертью вспоминает своего «старшего брата, умершего юношей на глазах» его: «Чудно это, отцы и учителя, что, не быв столь походим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего таинственно, для некоего воспоминания и проникновения» [Достоевский, т. 14, с. 259].

Непосредственно к образу Ставрогина отсылает в «Сне...» осознание героем того, что он «не помог девочке» по следующему соображению: «...если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, **мне всё на свете должно было стать теперь**, более чем когда-нибудь, **всё равно**»⁴. И тем не менее он ощущает, что ему «**не всё равно**» и что он жалует «девочку».

Более того, «смешной человек» вдруг понимает: «...ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, „дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и **бесчеловечную подлость сделаю**, то теперь могу, потому что **через два часа всё угаснет**“» [Достоевский, т. 25, с. 107, 108].

Точно такую же «новую мысль» «почувствовал» вдруг Ставрогин. Вот как он рассказывает об этом Кириллову: «...**если бы и сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и... смешной**, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: „**Один удар в висок, и ничего не будет**“». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?» [Достоевский, т. 10, с. 187].

«Сидя и рассуждая», «смешной человек» выдумывает затем «совсем уж новое»: «Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что **если б я жил прежде на луне** или на Марсе и **сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок**, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, — было бы мне *всё равно* или нет?» [Достоевский, т. 25, с. 108].

В весьма близких выражениях формулировал тот же самый вопрос «смешного человека» и Ставрогин: «**Положим, вы жили на луне**, — перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль, — **вы там, положим, сделали все эти смешные пакости...** Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: **какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали** и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли» [Достоевский, т. 10, с. 187].

⁴ Сам Достоевский считал фразу «**всё равно**» по отношению ко многим вещам решительно недопустимой. Так, например, однажды он возмутился, услышав ее от своей сотрудницы по «Гражданину» В. В. Тимофеевой-Починковской, сказанную ею по поводу того, что он перепутал ее отчество! [Тимофеева, с. 186].

Ранее Бахтин сам отметил, что «совершенно аналогичный экспериментирующий вопрос про проступок на Луне задает себе и Ставрогин в беседе с Кирилловым» [Бахтин, с. 426].

Точнее было бы сказать, что «смешной человек» задает себе тот же самый вопрос, причем примерно в тех же самых выражениях. То есть здесь имеет место своего рода автореминисценция из «Бесов».

У «смешного человека» это вопрос риторический. В «Бесах» он обращен Ставрогиным к Кириллову, но тот, разумеется, не дает на него ответа: « — Не знаю, ответил Кириллов, — я на луне не был, — прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта» [Достоевский, т. 10, с. 187].

«Всё это, — замечает также Бахтин, — знакомая нам проблематика Ипполита („Идиот“), Кириллова („Бесы“), могильного бесстыдства в „Бобке“. Более того, всё это — лишь разные грани одной из ведущих тем всего творчества Достоевского, темы „всё позволено“ (в мире, где нет Бога и бессмертия души) и связанной с ней темы этического солипсизма» [Бахтин, с. 426].

Как мы уже видели выше на примере сопоставления «смешного человека» с Кирилловым, это всё же не совсем та же проблематика. То же самое легко может быть показано посредством сопоставления «Сна...» с «Идиотом» или «Бобком». Что касается темы «Если Бога нет, то всё позволено», то это также отдельная и самостоятельная тема, по-настоящему развернутая только в «Братьях Карамазовых» (о ней, а также о ряде других мотивов «Братьев Карамазовых», намеченных в «Сне смешного человека», см.: [Кибальник 2021]).

Между тем универсальное безразличие ко всему «смешного человека» и Ставрогина, хотя внутренне, скорее всего, и связано с их атеизмом, но в «Сне...» и «Бесах» в основном изображено безотносительно к нему.

Безусловно, перекликается со сном Ставрогина и картина «другой земли» в «Сне смешного человека»: «Я стоял, кажется, **на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг**, или где-нибудь на побережье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, всё было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. **Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега** и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками.

И наконец, я увидел и узнал **людей счастливой земли этой**. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. **Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны!** Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. **Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском»** [Достоевский, т. 25, с. 112].

Во сне Ставрогина ему является «как будто какая-то быть» «картина Клода Лоррена», которую он «называл» «всегда „Золотым веком“, сам не знаю почему»: «Это — уголок греческого архипелага, голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдаль, заходящее зовущее солнце — словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, здесь первые сцены из мифологии, его земной рай. Тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; рощи наполнялись их веселыми песнями, великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную силу радости. Солнце обливало лучами эти острова и море, **радуясь на своих прекрасных детей**. Чудный сон, высокое заблуждение! (...) Всё это ощущение я как будто прожил во сне; я знаю, что мне именно снилось, но скалы, и море, и косые лучи заходящего солнца — всё это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни буквально омоченные слезами» [Достоевский, т. 11, с. 21–22].

Ставрогин просыпается с неведомым ему до этого ощущением счастья: «**Ощущение счастья, еще мне неизвестное, прошло сквозь сердце мое даже до боли**. Был уже полный вечер. В окно моей маленькой комнаты сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и **обливал меня светом»** [Достоевский, т. 11, с. 22]. Однако воспоминание о его насилии над Матрешей тут же разрушает это ощущение.

«Смешной человек» так и остается с «ощущением любви этих невинных и прекрасных людей» [Достоевский, т. 25, с. 112]. Однако также лишь до определенного момента — когда он сам «развратил их всех» [Достоевский, т. 25, с. 115].

Так что внезапное исчезновение гармонии в «Сне...» вполне напоминает сон Ставрогина из главы «У Тихона». Разница только в том, что у Ставрогина это исчезновение его собственной внутренней гармонии.

Этот сон Ставрогина, не вошедший, как и вся глава «У Тихона», в окончательный текст романа «Бесы», Достоевский впоследствии передал Версилову, используя тем самым в его следующем романе — «Подросток»:

«Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось: точно так, как и в картине, — уголок **Греческого архипелага**, причем и время как бы перешло за три тысячи лет назад; **голубые, ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце** — **словами не передашь**. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, и **мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью**. **Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми... О, тут жили прекрасные люди!** Они вставали и засыпали счастливые и невинные; луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками; великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. **Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей...**» [Достоевский, т. 13, с. 375].

Сон Версилова о «земном рае» человечества сменился при его пробуждении картинами Европы времен Парижской коммуны и Франко-прусской войны: «И вот, друг мой, и вот — это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву, в **заходящее солнце последнего дня европейского человечества!**» [Достоевский, т. 13, с. 375].

Обретенная во сне гармония прерывается у Версилова так же внезапно, как и у Ставрогина, — но не от воспоминания о совершенном им преступлении, а от ужасов истории.

Так что в «Сне смешного человека» мы находим сходную с «Подростком» сюжетную ситуацию, но совершенно иной способ ее разрешения.

Вспомним также и о том, что путь Ставрогина — не тот, который изображен, а тот, о котором лишь рассказано в романе другими героями, и в первую очередь Шатовым, — это ведь путь по-своему противоположный пути «смешного человека».

Не от равнодушия к прозрению, а наоборот, от верования и даже проповедования другим, прежде всего Шатову и Кириллову, к полному безразличию, утрате интереса к жизни и самоубийству.

Сходство Ставрогина со «смешным человеком» относится, таким образом, лишь к тому состоянию, в котором последний находился в самом начале рассказа.

4. Окружение «смешного человека» и мир героев прежних произведений Достоевского

Бахтин также констатировал ряд других внутренних связей рассказа с предшествующими произведениями Достоевского: «Отметим еще тему обиженной девочки, которая проходит через ряд произведений Достоев-

ского: мы встречаем ее в „Униженных и оскорбленных“ (Нелли), в сне Свидригайлова перед самоубийством, в „исповеди Ставрогина“, в „Вечном муже“ (Лиза); тема страдающего ребенка — одна из ведущих тем „Братьев Карамазовых“ (образы страдающих детей в главе „Бунт“, образ Илюшечки, „дитё плачет“ в сне Дмитрия). Есть здесь и элементы трущобного натурализма: капитан-дебошир, просящий милостыню на Невском (а этот образ знаком нам по „Идиоту“ и по „Подростку“), пьянство, картежная игра и драка в комнате рядом...» [Бахтин, с. 427].

Как обычно, перечень Бахтина неполон, а параллели его слишком общи и потому приблизительны. При этом параллели с «Униженными и оскорбленными» — а к ним стоило бы еще прибавить и параллель с незадолго до того написанным «Мальчиком у Христа на елке» (1876) — здесь очень даже кстати.

Параллели же с Матрешей из «Бесов», очевидно, к делу не идут. Тема «обиженной девочки» в «Сне...» звучит совсем по-другому.

Если «звездочка» наводит «смешного человека» на мысль, что нужно совершить самоубийство именно сегодня, то «девочка» — заставляет его это самоубийство отложить: «Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, **эта девочка спасла меня**, потому что я **вопросами отдалил выстрел**» [Достоевский, т. 25, с. 108].

Герой откладывает свой выстрел, сознавая, что ему на самом деле пока еще не до конца безразличны земные дела⁵.

Не случайно, приближаясь в своем сне к какой-то другой «земле», «смешной человек» сотрясается «от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую» он «покинул».

И именно потому в этот момент «образ бедной девочки», которую он «обидел, промелькнул» перед ним [Достоевский, т. 25, с. 111].

Что касается «капитана», то на этого эпизодического героя рассказа тоже стоило бы взглянуть повнимательнее: «Рядом, в другой комнате, за перегородкой, **продолжался содом**. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил **отставной капитан**, а у него были гости — человек шесть стрюцких, **пили водку и играли в штос старыми картами**. **В прошлую ночь была драка**, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она **боится капитана ужасно**. {...} Этот капитан, я наверно

⁵ Ср. сходное умозаключение И. А. Есаулова: «Удержали от самоубийства героя отнюдь не рациональные доводы его „я“, но именно жалость и стыд перед „Ты“» [Есаулов, Тарасов, Сытина, с. 160]. Наверное, точнее было бы сказать: не «удержали», а «отдалили»: «удержит от самоубийства» «смешного человека» увиденное им во сне.

знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и **просит на бедность**» [Достоевский, т. 25, с. 106, 107].

Даже и без текстуальных сопоставлений с «Бесами» очевидно, что этот образ — своего рода «тень» капитана Лебядкина.

При этом в «Сне...» значимо «мирное сосуществование» с ним «смешного человека»: «На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), **капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады**. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, — **мне всегда всё равно**. Я сижу всю ночь и, **право, их не слышу, — до того о них забываю**» [Достоевский, т. 25, с. 107].

Это «мирное сосуществование» «смешного человека» с «капитаном» — в свою очередь, отзвук «Бесов», а именно того, как Ставрогин довольно долго вполне уживался с капитаном Лебядкиным.

Тем самым оно обретает характер не простой снисходительности, а преступного потворства, удостоверяющего далеко не безвредный характер универсального безразличия героя.

Здесь же в рассказе появляется «тень» Катерины Ивановны Мармеладовой с ее детьми: «Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая **дама, из полковых, приезжая**, с тремя **маленькими** и заболевшими уже у нас в номерах **детьми**. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страха какой-то припадок» [Достоевский, т. 25, с. 106–107].

Разумеется, было бы странно, если бы Достоевский в своем новом произведении сохранял верность в деталях. Создавая образ окружения «смешного человека» до того, как ему открылась «истина», писатель лишь стилизует героев «Сна...» под наиболее известных героев романов «великого пятикнижия», предшествовавших созданию рассказа.

Это помогает ему в изображении мира людей, погрязших в эгоизме и равнодушии друг к другу.

5. «Смешной человек» и князь Мышкин

Если «смешной человек» до его преобразования ассоциируется со Ставрогиним, Кирилловым и даже Раскольниковым, то этот же герой после потрясения, испытанного им во «сне», уже напоминает князя Мышкина.

Он явно принадлежит к тому же самому типу «мудрого чудака», который у Достоевского восходит в конечном итоге к Дон-Кихоту и даже к Христу.

Недаром во время «вечернего собрания на даче Епанчиных» [Достоевский, т. 8, с. 434] сам Мышкин заявляет, что «быть смешным даже иногда хорошо, да и лучше: скорее простить можно друг другу, скорее и смириться» [Достоевский, т. 8, с. 453].

А накануне своего обморока произносит тираду, которая впоследствии не раз отзовется в словах «смешного человека», каким тот стал в результате увиденного им во сне: «...неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, **я не понимаю, как можно** проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? **Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его!** О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...» [Достоевский, т. 8; с. 459].

Ср. декларации «смешного человека» в финале «фантастического рассказа» Достоевского: «И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — **люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных.** (...) Главное — **люби других как себя**, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. (...) Если только все захотят, то сейчас все устроится» [Достоевский, т. 25, с. 118, 119].

Здесь стоит вспомнить о том, что, в свою очередь, образ князя Мышкина связан с размышлениями Достоевского в его рабочих тетрадях о Христе как «идеале человечества»: «В чем закон этого идеала? **Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное** и даже, не по воле, не по разуму, **не по сознанию** (<,>) а по непосредственному ужасно-сильному, непобедимому ощущению — что Это ужасно хорошо» (РГАЛИ. 212.1.04. Л. 21; ср.: [Достоевский, т. 20, с. 192]; см. подробнее об этом: [Кибальник 2017]).

Так что своеобразный отказ от чрезмерно развитого сознания, декларированный в «Сне...», очевидно, также связан с представлением Достоевского об идеале «возвращения в непосредственность».

6. Сон «смешного человека» и сон Раскольников

В рассказе «смешного человека» о том, как он «развратил» счастливых людей «земного рая», есть одна существенная прямая отсылка к «Преступлению и наказанию»: «Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячу лет и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною

грехопадения был я. **Как скверная трихина**, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю» [Достоевский, т. 25, с. 115].

Припомним теперь последний, также «фантастический», сон Раскольникова о «трихинах»: «Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бре-ду. Ему грезилось в болезни, будто **весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслышанной и невиданной моровой язвы**, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. **Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей**. Но эти существа были **духи, одаренные умом и волей**. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и **сумасшедшими**. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. (...) Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса» [Достоевский, т. 6, с. 419–420].

Раскольникова «мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез». Потом появляется Соня, и вскоре за этим между ней и Раскольниковым происходит сцена, после которой «в этих больных и бледных лицах» уже сияет «заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь» [Достоевский, т. 6, с. 421].

Итак, люди, в которых вселялись в сне Раскольникова «трихины», становились сумасшедшими совсем не в том смысле, в каком казался таковым «смешной человек».

Впрочем, «чистых и избранных» людей, «предназначенных начать новый род людей и новую жизнь», мы в «Преступлении и наказании» так

и не увидели. Зато сами главные герои «Преступления и наказания» в конце «эпилога» к роману уже предвещают «смешного человека».

Через десять лет после «Преступления и наказания» Достоевский написал рассказ, в котором представил нам героя, «предназначенного начать новый род людей и новую жизнь».

Так что «Сну смешного человека» можно было бы предпослать такой же подзаголовок, который следует за заглавием романа Чернышевского «Что делать?» (1863): «Из записок о **новых людях**». А ведь именно ответом на роман Чернышевского в значительной степени были «Записки из подполья».

Сам по себе рассказ о том, как «счастливые люди» «новой земли» совершили «грехопадение», впрочем, отмечен некоторой неопределенностью.

С одной стороны, герой его признается в том, что это он «развратил их всех».

С другой — описывает это как процесс объективный и в какой-то степени ни от кого не зависящий: «О, это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им» [Достоевский, т. 25, с. 115–116].

Так как же все-таки обстоит дело?

Вначале «смешной человек» как раз всячески воздерживался от речей. Более того, он «много раз» «спрашивал себя, как мог» он, «хвостун и лжец, не говорить им» о его «познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним?» [Достоевский, т. 25, с. 113].

Однако затем герой-рассказчик роняет следующее замечание: «**Я часто говорил им**, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез... **Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их?** Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул» [Достоевский, т. 25, с. 114].

Очевидно, что «счастливые люди» «новой земли» не сразу, но все же восприняли этот круг совершенно новых для них понятий.

Слова «смешного человека» оказались для них лишь первотолчком, а остальное, очевидно, исполнила внутренняя работа, совершившаяся в них самих.

7. «Сон смешного человека» в контексте «Дневника писателя»

«„Сон смешного человека“ не имеет никакого отношения к проблематике окружающих его статей», — утверждал В. А. Туниманов [Туниманов, с. 39]. Нетрудно убедиться в том, что это совсем не так.

Так, например, еще В. Л. Комарович на многочисленных примерах показал, что уже во многих статьях «Дневника писателя на 1876 год» («Земля и дети», «Золотой век в кармане», «Российское общество покровительства животным») Достоевский «словно стыдится застарелых грез, сам называет их „фантастическими и донельзя дикими“, признается в них не иначе, как выставив вместо себя какого-нибудь вымышленного „парадоксалиста“, или облекает их в форму шуточного рассказа». И тем не менее писатель по-прежнему верит: «всё зло как-то сразу, „вдруг“ исчезнет от одного человеческого великодушия и сразу наступит новый „золотой век“ на земле...» [Комарович, с. 149].

В статьях же «Дневника писателя за 1877 год» — и предшествующих «Сну смешного человека», и опубликованных после него — неоднократно звучит призыв не бояться быть смешным: «...кто имеет сказать слово, тот пусть говорит, не боясь, что его не послушают, не боясь даже того, что над ним насмеются и что он не произведет никакого впечатления на ум своих современников» [Достоевский, т. 25, с. 6]; «в наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута» [Достоевский, т. 25, с. 54]; «О, пускай смеются над этими „фантастическими“ словами наши теперешние „общечеловеки“ и самооплевники наши, но мы не виноваты, если верим тому, то есть идем рука в руку вместе с народом нашим, который именно верит тому» [Достоевский, т. 25, с. 100]; «И пусть не смеются надо мной, что я верю, что такая черта у нас *предоминирует*; я убежден, что не преувеличиваю и что мы стоим теперь на этой именно точке развития, так сказать, в массе нашей» [Достоевский, т. 25, с. 128]; «...пусть смеются над моим предположением без малейшего снисхождения, но во всю мою жизнь я вынес убеждение, что народ наш

несравненно чище сердцем высших наших сословий... ⟨...⟩ и хоть и умирать при таком богатстве от скуки и отвращения, но в то же время **из всех сил смеяться над простым, не тронутым еще чужой цивилизацией народом нашим за наивность и прямотушие его верований**» [Достоевский, т. 25, с. 129].

Особенно серьезные переключки содержит с рассказом Достоевского его статья «Приговор», последовавшая вскоре за «Сном смешного человека». Вновь здесь звучит тема «Записок из подполья» и «Сна...» о том, что чрезмерно развитое сознание — источник несчастья: «Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно; **сознание же мое есть именно не гармония, а, напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив**. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди *соглашаются* жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания» [Достоевский, т. 23, с. 148].

В конечном счете в «Сне...» Достоевским владеет истина всеобщей «любви» друг к другу, не раз звучавшая и в других статьях «Дневника писателя», — в частности, например, в статье с многозначительным заглавием «Но да здравствует братство!»: «...да рассеется всё это скорее **и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь** и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! ⟨...⟩ **для братства, для полного братства нужно братство с обеих сторон**» [Достоевский, т. 25, с. 87].

Все эти переключки позволяют, с одной стороны, ощутить глубокую укорененность в творчестве Достоевского основных мотивов «Сна смешного человека», а с другой — существенно уточнить проблематику этого его «фантастического рассказа». Они также дают возможность оспорить правомерность его интерпретации М. М. Бахтиным. Неточно считывая автоинтертекстуальность «Сна...» по отношению ко многим другим предшествующим и последующим произведениям Достоевского, Бахтин не улавливает специфическую для писателя постановку темы.

Соответственно, он не замечает в «Сне...» мотивы губительности всеобщего «равнодушия», невозможности сохранения в современном мире «целостности» сознания и в то же время издержек его развития в человеке. Не замечает он и воплощенной в рассказе концепции обновления мира, существенную роль в которой играют христианские категории (см. подробнее: [Кибальник 2021; 2022]).

Литература

- Бахтин — *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. М.: Э, 2017. 638 с.
- Достоевский — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. СПб.: Наука, 1972–1990.
- Есаулов, Тарасов, Сытина — *Есаулов И. А., Тарасов Б. Н., Сытина Ю. Н.* Анализ, интерпретации и понимание в изучении наследия Достоевского. М.: Индрик, 2021. 336 с.
- Живолупова — *Живолупова Н. В.* «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского и субжанр «исповеди антигероя» в русской литературе второй половины 19-го — 20-го века. Нижний Новгород, 2015. 735 с.
- Катасонов — *Катасонов В.* Религиозные аспекты рассказа Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека» // Достоевский и мировая литература: Альм. М., 2013. № 30, ч. 1. С. 191–216.
- Кибальник 2017 — *Кибальник С. А.* Записные книжки как источник для комментария и интерпретации литературного произведения // Русская литература. 2017. № 4. С. 40–51.
- Кибальник 2021 — *Кибальник С. А.* «Братья Карамазовы» и «Сон смешного человека» (к вопросу об автоинтертекстуальности у позднего Достоевского) // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2021. Т. 80, № 1. С. 58–66.
- Кибальник 2022 — *Кибальник С. А.* Мой «Анти-Бахтин» (к вопросу о научной интерпретации «фантастического рассказа» Достоевского «Сон смешного человека») // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2022. № 1. С. 65–73.
- Комарович — *Комарович В. Л.* «Весь устремление»: Статьи и исследования о Ф. М. Достоевском. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 923 с.
- Тимофеева — *Тимофеева В. В.* (О. Починковская). Год работы со знаменитым писателем // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 137–196.
- Туниманов — *Туниманов В. А.* Лабиринт сцеплений: Избр. ст. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. 589 с.

References

- Bakhtin, M. M. (2017). *Problemy poetiki Dostoevskogo*. Moscow: Izdatel'stvo "E", 638 p.
- Dostoevskiy, F. M. (1972–1990). *Polnoe sobranie sochinenii*. 30 Vols. Saint Petersburg: Nauka.
- Esaulov, I. A., Tarasov, B. N., Sytina, Yu. N. (2021). *Analiz, interpretatsiya i ponimanie v izuchenii naslediya Dostoevskogo*. Moscow: Indrik, 336 p.
- Zhivolupova, N. V. (2015). *"Zapiski iz podpol'ya" F. M. Dostoevskogo i subzhanr "ispovedi antigeroya" v russkoi literature vtoroi poloviny 19-go — 20-go veka*. Nizhnii Novgorod, 735 p.
- Katasonov, V. (2013). 'Religioznye aspekty rasskaza F. M. Dostoevskogo "Son smeshnogo cheloveka"', in: *Dostoevskii i mirovaya literatura. Almanakh*. Moscow. Vol. 30, 1, 191–216.
- Kibal'nik, S. A. (2017). 'Zapisnye knizhki kak istochnik dlya kommentariya i interpretatsii literaturnogo proizvedeniya', in: *Russkaya literatura*, 4, 40–51.
- Kibal'nik, S. A. (2021). "'Brat'ya Karamazovy" i "Son smeshnogo cheloveka" (k voprosu ob avtointer tekstual'nosti u pozdnego Dostoevskogo)', in: *Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk, Seriya literatury i yazyka*. Vol. 80, 1, 58–66.

- Kibal'nik, S. A. (2022). 'Moi "Anti-Bakhtin" (k voprosu o nauchnoi interpretatsii "fantasticheskogo rasskaza" Dostoevskogo "Son smeshnogo cheloveka")', in: *Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. Seriya literatury i yazyka*, 1, 65–73.
- Komarovich, V. L. (2018). *"Ves' ustremenie": Stat'i i issledovaniya o F. M. Dostoevskom*. Moscow: Institut mirovoi literatury Rossiiskoi akademii nauk, 923 p.
- Timofeeva, V. V. (O. Pochinkovskaya) (1990). 'God raboty so znamenitym pisatelem', in: *F. M. Dostoevskii v vospominaniyakh sovremennikov*. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. Vol. 2, 137–196.
- Tunimanov, V. A. (2013). *Labirint stseplenii. Izbrannye stat'i*. Saint Petersburg: Izdatel'stvo "Pushkinskii Dom", 589 p.